



Т. А. НИКОНОВА

О смысле человеческого существования в творчестве И. Бунина

И. А. Бунин в числе труднодостижимых художников XX века уже по одному тому, что не укладывается ни в одну из наработанных литературоведческих или культурологических схем. Внешняя простота его сюжетов обманчива. Когда мы готовы воскликнуть: «Реалист!», вдруг обнаруживается, что реалистические механизмы во многих случаях «не работают» или дают ничтожно малый результат. Сегодняшние рассуждения о «модернизме» Бунина имеют под собой основания, но не позволяют выстроить завершенной системы, точно так же как и «мифологические» и «онтологические» подходы к его текстам. И, вероятно, прав автор наиболее систематизированного исследования бунинского творчества Ю. Мальцев, который описал различные слои бунинского художественного мира, не стремясь свести их в единое, до него не обозначенное целое. Нет в творческом наследии великого русского художника того, что мы ищем в нем по аналогии с другими, — единой, все объясняющей и объединяющей схемы или системы. Наше традиционное причинно-следственное мышление должно опираться на что-то единственное и привычное, от чего мы ведем свой поиск, — на среду, идеал, христианство, язычество и пр. Мы, приступая к изучению нового явления, ищем некую смыслопорождающую основу, от которой, по нашему разумению, как от источника, и идет в своем поиске писатель. Невольно или вполне сознательно мы таким образом подчиняем художника своей современности, тому, что занимает нас сегодня прежде всего. Разумеется, в том и величие художника, что он может ответить на вопросы, которые задают его потомки через многие десятилетия, однако значительно больший интерес представляет круг тех проблем, какие неотступно решал сам художник, что волновало его в первую очередь.

Как и большинство русских художников, И. А. Бунин неоднократно возвращался к вопросу о смысле, цели человеческой жизни. А поскольку жизнь и смерть в земном сознании неразделимы, то главный вопрос, который задавал себе писатель едва ли не с детства («года за два до поступления в гимназию»), — «что за гробом?»*. По сути это вопрос о преходящем и суетном, о миге и вечности. «Смерть есть прекращение, изменение той формы сознания, которая выражалась в моем человеческом существе. Прекращается сознание, но то, что сознавало, неизменно, потому что вне времени и пространства...» — выписывает Бунин мысли Л. Толстого (IX, 160), ниже заключая уже «от себя»: «Это живой и радостный возврат из земного, временного, пространственного в неземное, вечное, беспредельное, в лоно Хозяина и Отца, бытие которого совершенно несомненно» (IX, 160).

Но как для Толстого, так и для Бунина этот вывод не конечен и недостаточен. Сознание писателя не может уложиться в традиционно-религиозную систему. Ведь не случайно И. Бунин в другом месте заметит почти мимоходом: «...никакой ортодоксальной веры не держусь» (IX, 258). Признавая наличие в мире «Хозяина и Отца», в земной жизни художник, как и его герои, ищет другого: «...люди находят спасение от смерти не умом, а чувством» (IX, 165). И Толстого, уверен Бунин, спасали те минуты, когда он не смирялся перед неизбежным, когда он не спрашивал, верит ли он, а просто жил. «А ведь все в чувстве. Не чувствую этого «Ничто» — и спасен», — заключает Бунин (IX, 165).

Но от чего спасен? От неверия или ужаса «Ничто»? Именно на этом пороге — на переходе от рационального к чувственному и наоборот — расходятся герои писателя. Духовно-рациональное и материально-чувственное в бунинском человеке существуют одновременно, но принадлежат словно бы разным его ипостасям. Рационально постигаемое имеет линейную длительность, стремится объяснить мир в логических понятиях, тем самым обретая личностный характер прежде всего в представлениях о земной жизни, конечности человека и т. д. И совершенно в другой плоскости лежит ответ сумасшедшего, встретившегося Толстому на дороге: «...какой такой тот свет? Свет один» (IX, 160). А раз свет один, продолжим мы в этой логике, то и человеческая жизнь не прерывается, просто переходит в иное состояние. Бунин замечает, что такой ответ сумасшедшего Толстому «очень понравился», ибо, с его точки зрения, Толстой «бессознательно,

* Бунин И. А. Собр. соч.: В 9 т. М., 1967. Т. 9. С. 257. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте, с указанием тома и страницы.

может быть, следовал инстинкту самосохранения, смутно предвидел, куда, к каким жертвам приведет его “демон” <рассуждения>» (IX, 162).

Чувственное господствует в бунинском человеке, оно древнее рационального, теснее связано с миром. Плоть несет в себе генетическую память не только о предках, она словно бы не только тебе принадлежит, а оттого острее позволяет чувствовать связь с миром. Она неподвластна линейному времени, таинственно живет в каждой судьбе, недоступна житейской дешифровке. Тренированный на изучении событийно-каузальной стороны жизни, человеческий разум ищет во всем логики, последовательности событий, останавливаясь перед органично-плотским существованием.

Для пояснения этой мысли сошлюсь на рассказ «Мелитон». Рассказчик, традиционный для русской литературы интеллигент, а значит, рационалист, пытается понять тайну жизни Мелитона, жившего трудно и долго, а сейчас несуетно ожидающего смерти. Служба в николаевской армии, потеря семьи должны были бы ожесточить старика, если исходить из житейского опыта. Но ничто не оставило ожидаемого следа в душе Мелитона. В конце жизни он так же безмятежен и спокоен, как будто находится в ее начале. И это тем более загадочно, что Мелитон не закрыт для общения, но не дает ожидаемого ответа не от недостатка развития или нежелания. Он находится в иной системе ценностей, живет по-другому, оттого и не понимает обращенных к нему вопросов.

«Мелитон, отчего ты всегда такой скучный?.. Или горе у тебя какое?», — спрашивает рассказчик. Ответ старика лежит в иной плоскости: «На то и живем-с, чтобы за грехи каяться» (II, 208—209).

Совершенно очевидно, что перед нами разное проживаемые жизни. Поведение рассказчика и его вопросы рождены традициями русского народничества и просветительства. Мелитон увиден Буниным вне этого привычного силового поля.

Цитированный выше рассказ демонстрировал различные точки зрения на человека. Рациональное и чувственное в «Мелитоне» отданы разным героям, по этой причине не достигающим понимания. Обычно же обе эти ипостаси живут в бунинском персонаже одновременно, сопрягая сиюминутное и вечное в каждой судьбе. Плотское бытие героя таинственным образом соотносимо с вечным, однако сам герой этой связи объяснить не может, да и не всегда ее ощущает. Дело в том, что Бунин опускает систему мотиваций, которая могла бы чувственные ощущения и догадки

вывести на уровень рационально осмысляемых причинно-следственных зависимостей. Необходимости в таком объяснении прежде всего не ощущают сами герои. Присутствие глубинного, независимо от человека существующего смысла его бытия самим персонажем вроде бы и не осознается, а между тем его жизнь проходит в бытийном силовом поле. Можно сказать, что бунинские герои, сами того не сознавая, пишут сценарии своей судьбы, всякий раз интуитивно сверяя свое решение (поступок) с неведомым им планом, с властно ощущаемой модальностью. Эта зависимость, рождая ощущение своей неповторимости, не создает личностного чувства в современной понимании. «Если есть бессмертие, то только в безличности... Божеское начало опять проявится в личности, но это будет уже не та личность. Какая? Где? Как? Это дело Божье», — выписывает Бунин из дневников Л. Толстого, мучительно ищущего выход из личностного тупика (IX, 160).

Наличие глубинного, внеличного смысла земного бытия уравнивает всех живущих в их одиночестве и неразгаданности тайны пути. Из человеческой жизни не уходит загадка, ощущение своего предназначения несуетного, небытового. Загадка личностного бытия бросает ответ на бытовое, повседневное, делая его значительнее. Наличие двух несовпадающих измерений усложняет размышления героя о себе. Бытовое, внешне случайное внезапно может получить иной смысл, прозреваемый, но не осознаваемый героем. Потому и ощущает себя бунинский человек на грани двух миров, в каждом из которых его роль не до конца ему ясна.

«В этом мире должна быть только одна правда, — третья, — а какая она — про то знает тот последний Хозяин, к которому уже скоро должен возвратиться и Чанг» (IV, 385). Не странно ли, что мысли Толстого, перед которым Бунин благоговеет, и мысли собаки устремлены к одному Хозяину, владеющему последней тайной всего живого? Но для Бунина именно так обозначается беспредельность жизни — в многообразии ее форм, в равенстве всего живого, во взаимной связи и подчиненности. Человек — равный в этом ряду, отмеченный общей для всего живого тайной и единым смыслом. Это обреченность на движение по своей земной дороге, метафорически наглядно обозначенное в рассказе «Перевал», не сообщает бунинскому герою философской торжественности. Жизнь — единственное, что надлежит исполнить человеку на земле. Исходная бытийность позволяет соотносить между собой героев, казалось бы, таких разных произведений, как «Деревня», «Мелитон», «Сны Чанга», «Легкое дыхание», «Жизнь

Арсеньева» и др. Различий между ними в онтологическом смысле не больше, чем расхождений между родными братьями Красовыми. Сословное принципиально не важно для Бунина, так как каждый из его героев занят главным делом — реализацией своей земной жизни. Из всего многообразия решений, предлагаемых ему бытом, он должен сделать единственный выбор, даже если это будет ошибка. В конечном итоге разница между героями сводится лишь к тому, *как* осознают свой поиск герои — как задачу творческую, радостную (Арсеньев, Мещерская) или как тяжкую повинность (Красовы).

Герои повести «Деревня», во внутренний мир которых автор позволяет нам заглянуть, живут в трагическом осознании ошибочности своего выбора, неугаданности пути. Томится «неотступной думой» Кузьма: «...пропадает, пропала его жизнь» (III, 69). «...Поздно, поздно», — вторит ему Тихон. Даже Серый, «самый нищий и бездельный мужик в деревне», тоже заключает о себе: «А тут человек без толку пропадает...» (III, 101). «Грустит, жалуется, сам над собой плачет» нелюбимый всеми Дениска, вызывая своим нелепым письмом не только насмешку Тихона Ильича, но и его сочувствие, но чем? Может быть, тем, что и вызвало к жизни нелепое, пародийное Денискино послание?

Точнее других поддается расшифровке «неотступная дума» Кузьмы, столь характерная для русской народнической литературы конца прошлого века. Путь Кузьмы традиционен для правдоискателя некрасовского толка. Он ищет ответ на мучающий «всех русских самоучек» вопрос «что делать?» в плане прямого социального действия. «Растравляя душу статьями Толстого, сатирами Щедрина» (III, 69), он не может ответить самому себе на естественно возникающий в такой системе рассуждений вопрос: «Для кого и для чего живет на свете этот худой и уже седой от голода и строгих дум мещанин, называющий себя анархистом и не умеющий толком объяснить, что значит — анархист» (III, 91). Его мысль мечется в кругу несоотносимых понятий, принадлежащих разным областям наблюдений. С одной стороны, это мысли о народе, к которым подталкивают статьи Толстого и сатиры Щедрина, с другой — вопросы, которые ставит конкретика быта. «Странник — народ, а скопец и учитель — не народ? Рабство отменили всего сорок пять лет назад, — что ж взыскивать с этого народа? Да, но кто виноват в этом? Сам же народ!» (III, 78). В очередной раз «спутались» мысли Кузьмы, отыскивающего линейный, в поступках зафиксированный выход из ситуации, тупиковой уже по одному тому, что смешаны в ней разные подходы к непростой ситуации.

Кузьма ищет выход не для себя, но для всего народа сразу. Ответы на столь масштабные вопросы он хочет видеть в сфере социального действия, и народ оценен им с позиции человека, ищущего универсального ответа: «...кто виноват?... сам же народ!». Смещение планов не позволяет Кузьме найти ответ на вопросы, не подлежащие простому решению, а потому в системе народнических поисков его конечный вывод справедлив: «Мы дурновцы, песенка наша спета».

Рисунок судьбы Тихона расшифровывается иным ключом. Его недюжинная энергия, жизненная сила направлены в иную, нежели у Кузьмы, область. Он не принадлежит к тому рационально-созерцательному типу, который представляет Кузьма. Это деятельный русский человек, принимающий правила игры той эмпирической реальности, в которой ему выпало жить. Окрестные мужики ахали, «как это ухитрился он не разорваться: торговать, покупать, чуть не каждый день бывать в имении, ястребом следить за каждой пядью земли...» (III, 13). И сам Тихон Ильич видел в такой деятельности проявление лучших своих качеств: «Я, брат, человек русский. Мне твоего даром не надо, но имей в виду: своего я тоже тринки не отдам!» (III, 13—14).

В такой системе рассуждений деньги, богатство становятся материализованным, опредмеченным смыслом человеческой жизни. И не случайно Тихон говорит о доступной ему форме справедливости: «твоего даром не надо» — «своего... тринки не отдам». «Пестрая», противоречивая душа русского человека получает уже при рождении знания и догадки, сначала не осознаваемые на бытовом уровне. Их осмысление приходит с возрастом. Поначалу Тихон Ильич воспринимал свои успехи в деле обогащения как некое благословение, как доказательство своего права поступать именно так, а не иначе. «Потеря надежды на детей и закрытие кабаков были крупными событиями в жизни Тихона Ильича» (III, 14). Трудно сказать, что здесь было более грозным знаком — закрытие кабаков или отсутствие детей. Сознал ведь Тихон, что содержание кабака если не грех, то рядом с грехом. «Мир зла... — это идеальный мир, но вывернутый наизнанку, и прежде всего вывернутое благочестие, все церковные добродетели. Вывернутая наизнанку церковь — это кабак, своеобразный «антирай», где «все наоборот <...> где всех чинов люди все шиворот-навыворот...» *. Вспомним толстовско-бунинское: «Какой такой тот свет? Свет один».

* Лихачев Д. С., Панченко А. М., Поньрко Н. В. Смех в Древней Руси. М., 1984. С. 20.

Но кабак в жизни Тихона — это еще и деньги, богатство. А в русском фольклорном сознании деньги, клады имеют два смысла: либо благословение *оттуда*, либо указание на опасность, предупреждение, достаточно грозное. С другой стороны, клады, как правило, предаются земле: «...богатства, полученные из земли, вверяли ей же под сохранение» *. Но с другой, клады, деньги, которыми на Руси, как известно, чаще всего владели купцы, разбойники и солдаты, таят в себе, по преданию, большую опасность. Они бывают заговоренными на определенное число голов. «По понятиям кладовщиков, клад, положенный на столько-то голов (например, «на сорок голов»), причиняет сорока кладоискателям смерть, а сорок первый кладоискатель получает клад беспрепятственно» **.

В таком контексте изношенный *наизнанку* «платок заграничный» (см. смысловой ряд «кабака») легко превращается в нечто символическое: «Так вот и я... с *жизнью-то* своей. Истинно так!» (III, 125; курсив И. Бунина. — *Т. Н.*). Подобный вывод возможен лишь при наличии у героя «антимирского» сознания, где «все наоборот», где «мудрые философы мудрость свою на глупость применяют» ***. И живший до сих пор по законам «антимира», где, «как всегда, хотелось уклониться от дум и разговора о боге, о жизни» (III, 35), Тихон начинает говорить и действовать иначе.

«Потеря надежды на детей» превращает в его глазах богатство в «золотую клетку», а в голову чаще всего приходит мысль о смерти. Знаки ее Тихон Ильич начинает видеть во всем. Это «мертвые головы» девочек, которых рождает его жена Настасья Петровна, с сожалением вспоминается сын, которого «прислала» немая кухарка. И словно бы пытаясь откреститься от пагубной силы денег и будучи не в силах от них отказаться, нанимает Тихон в имение солдата Родьку, многозначительно заметив, что «без солдата теперь не обойдешься» (III, 31). Разумеется, Тихон намекает на мужицкие бунты, на житейские обстоятельства, но едва ли один солдат без оружия может выступить реальной защитой. Вспомним к тому же, что взыскивая подати, Тихон Ильич «неутомимо гонял... за становым», но было это тогда, когда достижение богатства воспринималось им как благословение.

* Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия. Собр. М. Забылиным. Репринт: М., 1990. С. 438.

** Там же. С. 439.

*** Лихачев Д. С., Панченко А. М., Поньрко Н. В. Смех в Древней Руси. С. 20.

Вместе с Родькой появляется и Молодая, а с ней и надежда на то, что не ушла еще жизненная сила, что деньги собрали свою страшную дань. Однако вместо ожидаемого от Молодой ребенка — смерть Родьки и обжигающая догадка: «А не отравила она его?» (III, 41). Душевно Тихон разделяет этот грех с Молодой, горячо кается брату: «Мой грех, брат, мой грех!» (III, 38).

Вспомним слова Мелитона: жизнь дана, чтобы в грехах каяться. Так поступает и Тихон: знает, что греховен, но пытается искупить свой грех, нередко и деньгами. Не любивший «неверного церковного света», он везет Настасью Петровну к угоднику вымаливать наследника, *живого* ребенка, хотя и крепнет в нем уверенность, что «Бог должен наказать его» (III, 16). Знаков смерти становится все больше. Странник Макарка сует в руки Тихону картинку с надписью «Жан-Поль Рихтер, убитый молнией», умирает Настасья Петровна, внезапно, по дороге на вокзал (частый мотив в произведениях Бунина — смерть в толпе, в ожидании дороги). И все это служит для Тихона Ильича доказательством того, что путь его в Дурновке закончился. А потому практические дела отступают на второй план, их место занимают проблемы иного рода.

Суров Бог в бунинском мире, но все же появляются у Тихона «кощунственные мысли: он все сравнивал себя с родителями святых, тоже долго не имевших детей» (III, 26). И эта параллель, которую Тихон таит в себе, рождает надежду если не на прощение, то на дальнейший путь, на возможность выхода. Первым шагом по этому пути становится *свадьба* Дениски и Молодой. Ей предшествует сговор Тихона и жениха, в котором внешне много необязательного, разоблачающего героев. Дениску «разоблачают» вещи, Тихона — Денискины ответы. Будущий жених держит «в правой руке дешевый серый чемоданишко, щедро усеянный жестяными шляпками и перевязанный веревкой» (III, 56), который для Тихона служит доказательством Денискиной глупости и неоправданности его желаний: «Жрать нечего, а чемоданы да книжки покупаешь» (III, 57).

Однако «тема чемодана» получит после сговора иное наполнение. «Дениска вернулся из Тулы и околачивался без дела, болтая по деревне, что хочет жениться, что у него есть денежки и что скоро заживет он за первый сорт. Деревня сперва называла эти рассказы брехнею, потом, по намекам Дениски, сообразила в чем дело, и *поверила*» (III, 118; курсив мой. — Т. Н.).

Денискины намеки на чудесно свалившееся на него богатство («клад») не только делают свадьбу мотивированной и логичной, но выстраивают тот «сюжет», который подспудно живет в созна-

нии дурновцев вопреки бытовому содержанию повседневности. Оказывается, Дурновка, восхищавшаяся хозяйственной «люто-стью» Тихона Ильича, всегда знала, что за богатство ему придется платить, а потому готовно наблюдает жертвоприношение Молодой.

Разумеется, в плане бытовых решений Дениску и Молодую никак нельзя считать прямой реализацией «кощунственных мыслей» Тихона Ильича о себе как родителе святых — уж очень разительно содержательное несовпадение, да и не свойственны Бунину прямые символические параллели. Однако сквозь сюжет, который критика 1910-х годов восприняла в традиционном социологизированном плане *, просвечивают иные глубины, которые точно ощутила Дурновка. Свадьба оценивается ею в системе тех знаков, которые не случайно расставлены Буниным на пути Тихона и которые превращают все происходящее и его участников в сюжет «изначального мира» (Лихачев), скрытого под внешними, бытовыми проявлениями. В нем своя логика, свои законы.

«В первом мире господствуют благополучие и упорядоченность знаковой системы, во втором — нищета, голод, пьянство и полная спутанность всех значений. Люди во втором — босы, наги, либо одеты в берестяные шлемы и лыковую обувь — лапти, рогоженные одежды, увенчаны соломенными венцами, не имеют общественного устойчивого положения и вообще какой-либо устойчивости, “мятутся меж двор”...» **

Денискин «чемоданишко», его постоянные переезды из Дурновки в город и обратно («мятутся меж двор») делают Дениску наиболее удачным кандидатом на ту роль, которую ему отводит Тихон. Щедро именуя своего избранника «архаровцем», «смутьяном», дураком, «толкачом», Тихон лишь подтверждает мысль о принадлежности Дениски к сюжету «изначального мира». В развитии этой параллели автор позволяет нам заметить не только неказистую одежду Дениски (чужая поддевка, разбитые сапоги на коротких ногах), но и его «грустную усмешку», красивые «темные и томные» глаза. Да и в «свадебном» сюжете Дениска удивительно понятлив: он легко разгадывает замысел Тихона, прикидывается дураком в нужный момент, однако и задает «неприлично» прямой вопрос о том, кто ему наречен в неве-

* *Воровский В. В.* Эстетика. Литература. Искусство. М., 1975. С. 335—345.

** *Лихачев Д. С., Панченко А. М., Поньрко Н. В.* Смех в Древней Руси. С. 13.

сты, что свидетельствует об осознанном принятии предложенной роли.

«Антимир Древней Руси противостоит <...> не обычной реальности, а некой идеальной реальности, лучшим проявлениям этой реальности. Антимир противостоит святости — поэтому он богохулен, он противостоит богатству — поэтому он беден...» *

«Антимирность» всей дурновской свадьбы легко обнаруживается не только в фигуре Дениски, о чем шла речь выше, но и в том, как Дениска и его отец Серый укоренены в дурновской жизни. Вспомним, что после сговора Дениска передает Тихону Ильичу написанное им письмо. Прежде чем прочесть его, Тихон заглядывает в людскую и слышит «историю», которую рассказывает Оська в полном соответствии со скоморошьей традицией — о внезапно разбогатевшем мужике, корыстолюбивом и глупом попе. Это стилистически однородный фон письму Дениски, каракули которого «трудно и скучно» разбирать Тихону, но которое тем не менее написано во исполнение Денискиной роли. Оно странным образом напоминает «Азбуку о голом и небогатом человеке» ** и его ритуальные жалобы.

Характеристика Серого, которому также отведена важная роль в сюжете свадьбы, столь же беспощадна, как и Дениски. Нищий Серый потому нищ, с точки зрения Тихона и других дурновцев, что ленив. Его легко представить в числе бунтовщиков не только в более поздних «Окаянных днях», но и в «Деревне» (III, 120). Но надо сказать, что Серый странным образом связан с обоими братьями. Пустой и ничтожный человек, по определению столь непохожих Тихона и Кузьмы, он оказывается существенным звеном в их размышлениях. Когда он попадает в поле зрения Кузьмы, то обнаруживает способность к покаянию, к реалистической самооценке. Разговаривая с Кузьмой в темноте своей убогой избы, он «прост, грустен, сознается в своих слабостях. Голос его порою дрожит...» (III, 107), совсем как у Кузьмы Ильича в покаянные минуты.

Но в повести есть Серый, который готовно принимает участие во всех мирских делах и происшествиях, где он отчаянно деятелен, бестолково смел и только из-за того, что рассчитывает на даровое угощение. Именно эту жизнь видят и оценивают дурновцы. Однако есть и то, что Серый рассказывает «от себя», в доказательство своей ценности и хозяйственности. В числе таких рассказов — история о том, как он выдавал замуж дочь (III, 103—

* Там же. С. 17.

** Там же.

104). Ее смысл для Серого не в том, что у него нет денег на свадьбу и что бесприданнице обычным способом жениха не сыскать, как понимают слушатели, а в возможности обозначить для себя иную роль (вспомним письмо Дениски!) — заботливого отца и рачительного хозяина: «Еще как свадьбу-то сыграли! На расходы я, брат, жмуриться не стану...» (III, 104).

Такой Серый нужен Тихону в организации свадьбы Молодой и Дениски. Вступив в роль заботливого отца, Серый становится удивительно деятельным. Придя свататься, он говорит «необычайно-развязным и ладным тоном», в его поступках и жестах начинает сквозить едва угадываемый, не обыденный смысл. С одной стороны, он «стал заискивать в сыне», как только понял возможность появления «даровых» денег, будущего мнимого богатства. С другой, свадебный сюжет определяет ему роль щедрого свекра будущей невестки. Следуя ему, он дарит Молодой два чугунчика и моток черных ниток, в ответ получая имя в новой роли:

«— Спасибо, батюшка, — <...> поблагодарила Молодая <...> ласковым и особенным тоном» (III, 127).

Но перед нами — свадьба-искупление. В ней Молодой отведена роль жертвы. Она ничему не сопротивляется на протяжении всего действия, пытаюсь выжить в тех условиях, какие диктует ей Дурновка. Она «молчит, как убитая», когда с ней говорит Тихон, молчит, когда ее «ежедневно и еженощно» избивает Родька. Она же одобряет свадьбу, не несущую ей радости: «...Это он хорошо придумал», — оценивает Молодая замысел Тихона, тем самым принимая роль жертвы.

Тема жертвы-искупления свадьбой не исчерпывается. Тихон неоднократно дает возможность «заработать» на своем грехе самому нищему мужику в деревне. Он велит Серому «полакомить овчарок», зарезав старую лошадь, затем тот к свадьбе сына забивает ту самую «худую свинью», что Тихон Ильич прислал в подарок. Но ритуальность всех действий Серого снижена присутствием «изначального мира» (Лихачев). Во всех его действиях есть нечто пограничное, «изнаночное», как и его роль: «...кобыла (приговоренная к закланию. — Т. Н.) с визгом, с желтыми, оскаленными от боли и ярости зубами, с бьющей на снег струей черной крови, кинулась на своего убийцу и долго, как человек, гонялась за ним...» (III, 117).

Мистический и живописный одновременно смысл этой картины лишь подчеркивает двойственность готовящейся свадьбы. Замышлявшаяся Тихоном как искупление *своей* вины, она не только преображает Дениску и Молодую, давая им новые имено-

вания (муж и жена), но окрашивает их же в гибельные тона. В силу вступает родовое осмысление свадьбы, «...как молодые мужчины, так и женщины у нас на Руси (из простонародья), несмотря на всю простоту их незатейливого быта жизни, понимают, что значит вечная связь, — даруемая венцом; связь с лицом неузнанным, часто с порочным, законченная венцом — неразрывна до конца жизни того или другого. Все девушки это понимают ранее супружества, но рассчитывают на брак, как на лотерею, известно, не всегда надежную» *.

В полном соответствии с этой традицией ведет себя и Молодая, сознающая, что и Дениска не в радость, но тем не менее ожидающая от свадьбы едва ли не чуда. «Куда ж, по-вашему, мне деваться? — зло спрашивает она Кузьму. — Век чужие пороги обивать? Чужую корку глотать?» (III, 119). Риторический смысл ее вопрошаний явственно не совпадает с тем почти отцовским сочувствием, с каким относится к ней Кузьма. Приняв на себя роль жертвы в замысле Тихона, Молодая «горячо и грубо» отказывается от житейского истолкования свадьбы, на чем настаивает Кузьма. Она остается в том сюжете, по велению которого и устраивает свадьбу Тихон. «За грех мой не свечку поставлю, а сотворю благое. Хоть и лепту одну подам, да за лепту эту попомнит мне господь» (III, 112), — надеется «пестрая душа» русского человека. В ней удивительным образом сочетается стремление к самореализации, желание словно бы опредметить самую жизнь, оставив после себя нечто материальное, с сознанием своей суетности. Живущие совершенно по-разному, герои одинаково страстно ожидают чуда. На этом каждый из них сосредоточен, но ожидание не объединяет героев, а фатально их разводит. Крайне редко дурновец узнает отраженное свое в исповеди другого. Но значительно больше, чем самососредоточенность, разводит бунинских героев по-разному понимаемая повседневность.

«...Так коротка жизнь, так быстро растут, мужают и умирают люди, так мало знают друг друга и так быстро забывают все пережитое, что с ума сойдешь, если вдуматься хорошенько!» (III, 53). Этот дискурс кажется неожиданным для Тихона, его лексики и уровня понимания мира, но едва ли случаен. Он абсолютно логичен в том глубинном сюжете, который привел его к мысли о смерти и покаянии. Пороговая ситуация всегда обращает человека к онтологическим глубинам. Тихон, с азартом обличающий «народ» («Сквернословы, лентяи, лгуны, да такие бесстыжие, что ни одна душа друг другу не верит!» — III, 123), по вечерам чита-

* Русский народ... С. 114.

ет требник и диву дается: «как это можно было слова такие сладкие придумать:

— Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть и вижду в гробех лежащую по образу божию созданную нашу красоту, безобразну, безгласну, не имущую вида...» (III, 124).

Для Тихона, совсем не в церковном смысле понимающего текст требника, оказываются соотносимыми и взаимопроникающими два мира — реальной жизни, где он «лютый хозяин», и мира «изначального», в котором все обретает свой истинный вид. Его одновременное существование сразу в двух ипостасях — человека онтологического и первоначальника — мучительно для него, но естественно для «пестрой» души русского человека. И в обоих мирах он деятелен и созидателен.

Его брат, апеллирующий в своем поиске к другим духовным источникам, не знает подобного раздвоения. Он весь принадлежит миру современному, его поиск — поиск смысла своего существования в системе социально значимых ценностей. Задающий себе и жизни по форме такие же вопросы, как и Тихон, он не понимает брата на мотивном уровне, ибо ему неведом «изначальный» мир. Вот почему когда Тихон начинает яростно утверждать то, о чем еще совсем недавно столь же страстно кричал Кузьма, то последний не радуется совпадению мнений, а, напротив, испуган: «Он рехнулся! — подумал он <Кузьма>, бессмысленными глазами следя за братом» (III, 123).

Мирозерцание Тихона не предполагает нахождения ответов. То беспокойство, которое он испытывает, не может быть определено или подавлено внешними действиями. Оно лишь ими явлено, обозначено, свидетельствует о том, что сознание его направлено на собственный внутренний мир, ориентировано на некую инобытийную значимость.

Подобное качество героя — родовое в бунинском мире. Вся человеческая жизнь, по Бунину, есть процесс познания, где инструментом является сам человек. «Мы живем всем тем, чем живем, лишь в той мере, в какой постигается она лишь в минуты восторга — восторга счастья или несчастья, яркого сознания приобретения или потери; еще — в минуты поэтического преображения прошлого в памяти» (IX, 366).

И мы опять возвращаемся к той мысли, которая так дорога писателю, — постижение смысла человеческой жизни совершается спонтанно, доступно только чувственной стороне человеческого существа. Главным качеством жизни является внутренняя динамика, на которую человек откликается всеми своими чувствами. Чувства же включают человека в естественный жизнен-

ный круговорот. В автобиографической заметке писатель замечает, что от мысли о смерти, рождавшей «мучительную тоску, длившуюся целую зиму», его «излечила весна» (IX, 257; курсив мой. — Т. Н.). Как и природа, человек подчинен единому ритму человеческих переживаний. Горячка первой любви настигает каждого тогда, когда «душа менее загрязнилась» (IX, 340), беспомощность старости в равной мере свойственно и благообразному Мелитону, и «ошалевшему от долголетия» Таганку. И в этой повторяемости единство и целостность мира, его вечность. В таком ощущении мира бунинский человек глубоко природен и архаичен. В своей глубине он язычник, которому вняты различные религии и верования, если они созвучны его чувствам «в минуты восторга <...> яркого сознания приобретения или потери». Вот почему бунинского человека трудно свести к одной какой-то формуле или схеме, так как у него всякий раз новый порог возвращения на круги своя. Архаическая вертикаль — главная познающая константа в мире Бунина. Прошлое имеет власть над его героями потому, что прерывает завесу смерти, преодолевает забвения, но не рационально, а чувственно. «Смертная память» всегда материализована в его героях как часть судьбы. Телесное и духовное, вечное и повседневное в ней вступают в драматические отношения, не подчиняясь эмпирике социума, линейному времени, но и не отказываясь от них. Следуя логике смутно ощущаемого «изнаночного мира», в свою очередь не всегда идеального и гармоничного, герой опредмечивает его своей жизнью, превращая быт в бытие.

